

18+



Секция плавания  
ДЛЯ ПЬЮЩИХ В ОДИНОЧЕСТВЕ

САША КАРИН



САША КАРИН

Секция плавания  
ДЛЯ ПЬЮЩИХ В ОДИНОЧЕСТВЕ

POPCORN BOOKS

*Москва*



# ОГЛАВЛЕНИЕ

- 1/ ОДИНОКИЕ МЕСТА
- 2/ ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА В ИНТЕРЬЕРЕ
- 3/ ВОКРУГ БАССЕЙНА
- 4/ КУДА ТЕКУТ РЕКИ
- 5/ «Я ХОЧУ ТЕБЯ ЗНАТЬ»
- 6/ ЧУЖИЕ КУХНИ
- 7/ ДЕНЬ, КОГДА ВЫПАЛ ПЕРВЫЙ СНЕГ
- 8/ ВСТРЕЧА
- 9/ СЕКЦИЯ ПЛАВАНИЯ
- 10/ «ПОМНИ ОБ ЭТОМ»
- 11/ ЗАВТРАК С ЯЙЦОМ
- 12/ СПАСИТЕЛЬНЫЙ МЕТЕОРИТ
- 13/ «ЗДЕСЬ ЖИВУТ И УМИРАЮТ ПТИЦЫ?»
- 14/ МАЛЕНЬКОЕ ОДИНОЧЕСТВО И БОЛЬШОЕ  
ОДИНОЧЕСТВО
- 15/ ТИХИЕ, НЕЖНЫЕ ЧЕРВИ ПУСТОТЫ
- 16/ О КОТАХ И ЛЮДЯХ
- 17/ ПРЕДПОСЛЕДНИЕ ПОХОРОНЫ В ЭТОЙ ПОВЕСТИ
- 18/ СПИНОЙ К ТОРЖЕСТВУ
- 19/ ЖЕНЩИНЫ У ВОДЫ
- 20/ СООБЩАЮЩИЕСЯ СОСУДЫ
- 21/ СЕКЦИЯ ПЛАВАНИЯ ДЛЯ ПЬЮЩИХ  
В ОДИНОЧЕСТВЕ

# 1/ ОДИНОКИЕ МЕСТА

В Москве, в Крылатском районе, есть один укромный уголок, будто пришитый к миру грубой нитью. Под Крылатским мостом со стороны Филевской набережной, где у полей для гольфа Москва-река делает крутой поворот, начинается неприметная Островная улица. Зажатая между рекой и гребными каналами, она огибает Крылатский полуостров, протягивает отросток-тупик к запустелому комбинату детского питания и к спортбазе для гребцов. По Островной улице изредка ходит единственный маршрутный автобус, почти всегда полупустой. Весной и летом можно увидеть припаркованные кое-где автомобили спортсменов или гостей гольф-клуба; в остальное же время, поздней осенью и зимой, Островная улица с большой долей вероятности превращается в постапокалиптическую декорацию для малобюджетного фильма ужасов.

*2016, осень*

Это был первый день последнего месяца осени, бесцветный и по-московски пропахший водкой. На берегу сидел молодой человек и наблюдал безлюдный пейзаж Мнёвнической поймы. Он знал, что по ту

сторону реки, где в заболоченной пустоши возвышались подъемные краны, у вдающейся в воду узкой полосы, поросшей плакучими ивами, находится одно из самых больших и старых подводных кладбищ Москвы. Там была похоронена его мать.

Ему не нравился тот берег. Минуты особенной тоски он привык проводить на стороне Островной улицы, откуда воды над кладбищем видны как на ладони, но все же были от него достаточно далеки.

Сидел он, собравшись в комок, на вымокшем обрывке газеты *Metro*, которую в переходе ему всучила тучная пожилая женщина. Рядом на земле лежала завернутая в пакет бутылка портвейна. Вокруг было уныло и тихо. Серое небо по оттенку ничуть не уступало воде; полудвижение реки и полная неподвижность кустов на другом берегу шептали молодому человеку о том, что время уходит. Он дрожал, хотя одет был в пуховую parku, а день стоял довольно теплый. Прижав острый подбородок к коленям, нервно курил и смотрел на другой берег.

У молодого человека было, конечно, имя. Мать, сознательно или нет, назвала его в честь знаменитого яacobинца. Марату имя нравилось, но не целиком, поэтому он предпочитал, чтобы его произносили на французский манер — Марá.

Кажется, никогда еще Мара не ощущал себя таким одиноким. Он подумал, что на этот раз у него действительно может получиться. Во всяком случае, он

давно для себя все решил. У него не было никаких планов на будущее, так что едва ли кто-то осмелился бы его осудить.

Мару возбуждала мысль, что жизнь его может кончиться здесь, на берегу реки, хотя место по большому счету было ни при чем, оно всего лишь давало слабый толчок чему-то давно уже в нем зреющему.

Мара склонился над пакетом. Бутылка портвейна была наполовину пуста. Сейчас ему так сильно захотелось бросить бутылку в воду — возможно, для того чтобы сосуд навсегда воссоединился с жидкостью, — но в последний момент что-то его остановило. Почему-то Мара подумал, что не сдержится и заплачет. Подул ветер, безнадежный, как вой глухонемого, и пепел, сорвавшийся с кончика сигареты, обжег подбородок. Мара затушил сигарету и не заплакал.

Он неуверенно спустился к воде. Угрюмо свисали по бокам карманы пуховика, набитые камнями и мелкой бетонной крошкой. В водной ряби ему померещились печальные глаза Вирджинии Вулф, обугленные тела летчиков-камикадзе времен Второй мировой и бледные лица суицидальных подростков из депрессивных пабликов (дети трупного возраста — от тринадцати до семнадцати). Но по-настоящему отражались в воде только синие круги его глазниц, острые углы скул, правильный треугольник носа; гармонию геометрических фигур нарушали все же непослушные,

давно не стриженные темные волосы, торчавшие из-под бесформенной вязаной шапки, и распухшие на морозе губы, похожие на двух сцепившихся слизней. В этом отражении, как ему показалось, он не был похож на себя самого, и это немного пугало. Было неприятно думать, что, когда его найдут, выловят или поднимут со дна, ничего в нем от прежнего Мары не останется. По крайней мере, будет он уже некрасив, тина облепит его лицо, а ко лбу — так он почему-то представил — прилипнет использованный презерватив.

Вода в Москве-реке была, как всегда, спокойна. Она неохотно впускала в себя отражение человека. Человек был ей не нужен. Люди, подумал Мара, не созданы для воды.

Вода, пожалуй, создана для осьминогов, устриц и мусора. В Москве-реке, если верить слухам, есть всего понемногу. А слухи ходили не просто так. До две тысячи второго года Крылатский пищекомбинат на Островной улице (стоит Маре обернуться, и он увидит это непримечательное здание) занимался в основном выпуском продуктов детского питания: яблочного пюре, сокосодержащих напитков, а также зефира, пастилы и мармелада. Однако предприятие прекратило это направление из-за убыточности производства и сменило профиль, сфокусировавшись на изготовлении модной в начале двухтысячных продукции: рыбных полуфабрикатов, суши и роллов, поставляемых в супермаркеты одной известной сети. Отходы нередко

попадали в реку: рыбы головы, плавники, хвосты, внутренности. Иногда с конвейера удавалось улизнуть сырым и вполне живым осьминогам. Так, если, конечно, верить слухам, в Москве-реке поселились экзотические гады, возвращенные и мутировавшие на промышленных отходах, сигаретном пепле и креме для загара посетителей городских пляжей. Живут ли московские осьминоги семьями или держатся поодиночке — история умалчивает. Вскоре пищекомбинат закрылся, и его владельцам, чтобы избежать банкротства, пришлось заняться сдачей в аренду собственных производственных помещений.

За двадцать лет жизни Мара, родившийся в Москве, ни разу не видел живого осьминога даже в зоопарке, не то что в Москве-реке. И хотя Мару с детства тянуло к воде, к ее вечному неподвижному движению, его никогда не привлекало изучение морских и речных глубин. Сколько себя помнит, Мара рисовал. Он какое-то время всерьез считал себя художником...

Мара заставил себя оторвать взгляд от воды и достал из кармана телефон. Он вдруг решил, что стоило бы напоследок кому-то написать, с кем-то попрощаться. Это, конечно, был самообман, чтобы потянуть время. Он мог бы оставить одну из тех пошловатых предсмертных записок, но не позаботился об этом заранее, и бумаги при нем не было. Пока Мара думал, кому бы отправить последнее сообщение, глухое чувство чуть отступило. Он даже не услышал всплеска реки: это его бутылка

портвейна скатилась в воду и, медленно кружась, поплыла по течению.

Почему-то ему захотелось написать человеку малознакомому, выбранному наугад из списка друзей в социальной сети. Ведь друзья из социальной сети — по крайней мере в своем большинстве — друзья ненастоящие, можно сказать, вымышленные. А в этот момент Мара был согласен на любое унижение; теперь все что угодно, только не оставаться одному. Виной тому был выпитый портвейн, который, несмотря на холод, еще не хотел его отпускать, или полудвижение Москвы-реки, или полная неподвижность кустов на берегу острова Нижние Мнёвники... В общем, это должно было стать его последней пьяной слабостью. Так он действительно думал.

Мара начал писать. И дал себе слово, что, как только отправит сообщение, тогда уже наверняка разлогинится отовсюду и пойдет в воду, чтобы ничего после себя не оставить.

~ ~ ~

Из окон медицинского корпуса открывался скупой вид на внутренний двор санатория. Пожухший газон, вытоптаный у углов выложенных плитами дорожек, редкие декоративные сосны перед крыльцом столовой, неровно подкрашенные скамейки под деревьями, крыша беседки, выглядывавшая из-за парковки для персонала,

тоскливая альпийская горка на берегу искусственного озера... Пейзаж, совершенно типичный для оздоровительных мест строгого режима и, по мнению специалистов, предотвращающий риск суицидальных намерений у пациентов.

Стремительно темнело, накрапывал дождь. Ветра, казалось, не было. По небу цвета глаз слепой собаки, сбившись в шумную тучу, пронеслась стая ворон. Внезапно в безлюдное спокойствие внутреннего двора вторглась женщина в санитарной униформе. Она появилась из-за приоткрытой двери столовой, негромко охнула и, прикрывшись от дождя сложенной пополам газетой, начала быстро спускаться по ступеням.

Девушка, лежавшая в чугунной ванне на первом этаже медицинского корпуса, без особого интереса следила за движением женщины в санитарной форме. Для нее она была всего лишь плывущим белым пятном на стекле. Вскоре пятно это скрылось из виду, и двор снова опустел. До слуха девушки доносились приглушенные крики ворон и едва различимый лай цепного пса. Тогда девушка почему-то подумала: «Вот здесь я останусь навсегда».

Она лежала неподвижно, как выброшенный из магазина бракованный манекен, в зеленоватой воде, из-за которой ее кожа казалась особенно бледной. Ванна стояла в углу просторного помещения, отделенная от дюжины других таких же ванн складной ширмой. Пол и стены помещения были покрыты зеленой плиткой,

к потолку прикреплены люминесцентные лампы; кое-где из горшков торчали безжизненные на вид растения. Акустика в полупустом зале была неплохая: то и дело со всех сторон раздавались всплески воды.

Вода в ее ванне давно остыла, но девушка не спешила вылезать. С процедур она всегда старалась уходить последней, чтобы не столкнуться с другими пациентами. От холода ее руки, бедра и колени покрылись гусиной кожей.

Ее сложно было назвать красивой: впалые щеки, рот широкий, с узкими губами, нос с маленькой горбинкой (что, впрочем, ей скорее шло, чем наоборот), чуть раскосые, неестественно большие карие глаза, расставленные слишком широко, короткие черные волосы, небрежно торчавшие в разные стороны. В чертах ее лица все было чуть-чуть слишком. Тело у нее было худое, по-мальчишески угловатое. Маленькая грудь, узкие бедра, длинная шея. Лежа в ванной, она казалась немного сутулой. Но эта сутулость удивительным образом тоже ей шла, как кому-то идет чуть косящий глаз или большое количество татуировок.

На табурете рядом была свалена комом ее одежда: свободная черная футболка и штаны цвета хаки. Сверху лежали смартфон и медицинская карта; на первой странице карты была анкета с личной информацией. Графы заполнены врачом от руки — если постараться, почерк можно разобрать.

Девушку звали Лиза, недавно ей исполнилось девятнадцать лет. Лизе не нравилось быть «пациентом» — обезличенным номером в картотеке с закрепленным койко-местом (кто вообще придумал это ужасное слово?) и записанным за ней стулом в санаторской столовой. Про себя она называла пациентами всех, кроме себя. И все же Лиза и сама была пациентом, то есть принудительным гостем санатория «Сосны», «удобно расположившегося в сосновом бору в устье реки», как заявлялось в рекламном буклете. Это ее родители настояли на том, чтобы Лиза подлечилась в провинциальной санатории, хотя в ее случае о настоящем лечении речи не шло (возможно, потому отец и выбрал тихое место, как он считал, чтобы дочь могла пожить вдали от городского шума, у воды и хотя бы под присмотром).

С шестнадцати лет Лиза теряла зрение: медленно и неотвратимо реальность отдалялась от нее (или Лиза отдалялась от реальности), подобно тому как постепенно исчезает из виду московский мусор, уносимый течением большой тихой реки. К тому не было никаких явных причин, кроме психосоматических, как утверждали врачи; в детстве у нее не было выявлено никаких отклонений, как не было обнаружено и наследственной предрасположенности к возникновению этого странного заболевания. И все же с каждым годом Лиза все отчетливей осознавала, что погружается в темноту.

Здесь, в санатории, в окружении пожилых людей и инвалидов, Лиза жила уже два месяца, и было неизвестно, сколько еще проживет. По крайней мере с этой мыслью она уже успела смириться.

Постепенно пациенты начали вылезать из воды. Раздались, как обычно, их приглушенная речь, шаги, скрип дверей. Девушка подождала еще немного, потом медленно выбралась из ванны, вытерлась жестким от крахмала полотенцем и оделась. Взяла телефон, чтобы по привычке проверить журнал событий. Вообще-то приятелей в сети у нее было немного, писали ей редко, а с родными Лиза обычно связывалась в условленное время по вечерам, поэтому она очень удивилась, увидев оповещение о новом сообщении. Лиза не спешила открывать его (она бы и не смогла его прочесть без очков, даже с настройкой для слабовидящих), но все же заметила, что написал ей кто-то смутно знакомый. Мара Агафонов. Не сразу, но Лиза вспомнила это имя. Ей стало любопытно, сердце забилося чуть чаще, как это обычно бывало, когда она получала весточку из «реального мира».

Тогда она подумала, что это могла быть рассылка. И все же, направляясь к выходу, Лиза не могла побороть легкое возбуждение.

Выйдя из крыла оздоровительных процедур, она наткнулась на вытянутые ноги сидевшей у двери полной санитарки. Та опустила газету со сканвордом на колени и искоса посмотрела на девушку.

— Опять вы засиделись, — хрипло сказала санитарка, — придется все рассказать вашему лечащему врачу. Кто ваш лечащий врач?

— Извините, — прошептала Лиза. На вопрос решила не отвечать, меньше всего ей хотелось тратить время на последующие объяснения с Молоховым. Громогласный грозный Молохов и был ее лечащим врачом. Кроме того, был он здесь для нее царь и бог, от него целиком зависела ее теперешняя жизнь; только с ним из здешнего окружения Лиза общалась — по часу на осмотрах по вторникам и четвергам, а иногда и в неприятное время.

Санитарка покачала головой, заворочав складками под дряблым подбородком.

— Вы сюда лечиться приехали? Очень безответственно вы относитесь к лечению. Процедура не просто так длится пятнадцать минут. В следующий раз внимательней следите за песочными часами. Переворачивать нужно один раз, а не два...

Лиза нетерпеливо кивнула, крепче сжав смартфон в руке.

— Ладно, — вздохнула санитарка, — идите уже. И не опаздывайте в следующий раз.

В коридоре Лиза сняла с крючка свое пальто, надела его поверх мятой футболки, застегнулась на все пуговицы и одним движением обмоталась шарфом. Затем вышла из медицинского корпуса и быстрым

шагом направилась через двор к маячившему за столовой многоэтажному зданию.

Когда она подходила к крыльцу, дождь перестал. Несколько пожилых пациентов, сидевших на лавках перед входом, нерешительно выглядывали из-под козырька, морщившись под острыми лучами заходящего солнца. Несмотря на холодную погоду, как минимум двое из них были в тряпичных тапочках и выходить на улицу, по-видимому, не собирались. Одна женщина с густыми седыми волосами, собранными в аккуратный пучок, улыбнулась Лизе. Лиза это заметила — вернее, она заметила, как пятно в виде лица женщины дрогнуло и повернулось к ней. Тогда она задержалась на ступенях и улыбнулась женщине в ответ, хотя ее даже не узнала. Может быть, они сидели за одним столом в столовой или вместе занимали очередь на процедуры. Лиза вряд ли бы ее вспомнила, даже если бы захотела. А у стариков обычно хорошая память на такие вещи.

Лиза взбежала по лестнице и зашла в просторный и вечно пустынный холл. Над стойкой регистрации беззвучно работал телевизор. Крутили назойливую правительственную рекламу эвтаназии для «лиц пенсионного возраста». У них было несколько роликов с разными сюжетами: на одном из них пожилая супружеская пара шла в воду, взявшись за руки, на другом — молодая семья с тремя детьми провожала старика в каком-то нелепом парадном наряде до дверей

социального бассейна; кроме того, были еще ролики с сюжетами про малоимущих и инвалидов.

Лиза вызвала лифт и поднялась на свой этаж. В коридоре на этаже было пусто, если не считать старика в кресле-каталке, дни напролет торчавшего у окна в комнате отдыха. Когда он не страдал от деменции, то трясся от страха: он все ждал, что со дня на день за ним явятся социальные работники и насильно уведут его в воду. Обычно Лизе было жаль этого старика, но не сегодня. Сегодня он был ей безразличен.

Лиза дошла до конца коридора, вставила ключ в замочную скважину, привычным движением потянула заедавшую ручку на себя и открыла дверь номера. С некоторых пор она жила одна, что было по здешним меркам большой удачей. После того как ее соседка (одинокая пожилая женщина) съехала, родители Лизы выкупили номер целиком. Жить в одиночестве Лизе нравилось: проще было засыпать без соседки, диагностировавшей себе все смертельные болезни и неизменно заходившейся кашлем по ночам.

Маленький номер, казавшийся больше своих размеров из-за скромной обстановки, представлялся Лизе зеркально отраженным: две кровати с двумя прикроватными тумбочками по левую и правую сторону от балконной двери; у стен, обернутых в цветочные обои с советских времен, — два стула с обивкой из потертой ткани, смотревшие друг на дружку, словно

рассорившиеся братья, запертые вместе за общую провинность. В углу на кронштейне висел телевизор, а у окна стоял письменный стол на кривых ножках. На столе стояла фотография Вани, ее младшего брата, в маленькой деревянной рамочке с черным уголком.

Лиза прошла вглубь комнаты, положила на прикроватную тумбочку медицинскую карту. Немного подумав, оставила там же телефон. Сначала, чтобы нарочно потянуть время (наверно, ей хотелось еще немного побыть в тревожном ожидании), включила лампу над кроватью и задернула шторы. Потом разделась, убрала вещи в шкаф и накинула халат. Из холодильника, спрятанного в нижнем отделении письменного стола, достала вино в бумажном пакете и упаковку феназепама. По привычке приняла две таблетки, налила вино в стакан примерно до половины. После этого Лиза решилась прочитать сообщение. Будто бы вовсе не из-за него она так спешила вернуться в номер.

Она взяла телефон, надела очки и села на кровати, подтянув под себя ноги. В очках Лиза все еще могла читать вполне сносно, хотя длинные или малознакомые слова отнимали некоторое время на расшифровку.

Лиза открыла сообщение.

## 2/ ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА В ИНТЕРЬЕРЕ

Не с первого раза ему удалось открыть дверь. Руки Мары дрожали — больше от унижения, чем от холода и промокших насквозь ботинок. Обидно было снова терпеть поражение, но сердце все же предательски радостно стучало в груди.

Впрочем, на этот раз Мара зашел дальше, чем когда-либо. Все было бы кончено, если бы Мару не застал врасплох непонятно откуда взявшийся дворник. Появился он на берегу, из-за лысых кустов, и все испортил. Застыл у мешка с опавшими листьями и бесстыдно — вообще без всякого выражения — таращился на Мару своими узкими глазами. Тогда Мара, стоявший по пояс в воде, вдруг с тоской осознал, что уже совершенно трезв и теперь ему хочется только поскорее вернуться домой. Сам себе он показался жалким и беспомощным. Стоять на виду у этих узких глаз было неприятно, к тому же ноги горели от холода; озноб поднимался от промокших джинсов по спине до самого затылка.

Таджик (или это был узбек?) крикнул Маре что-то на своем непонятном экающем языке. Мара знал, что никто не имеет основания помешать ему уйти под воду, это было его законное право, и тем не менее присутствие постороннего в решающий момент его напугало. Прикрыв глаза рукой, защищаясь от последних лучей заходящего солнца — он видел в этой размытой красной точке стремительно летящего в горизонт летчика-камикадзе, — Мара пытался рассмотреть лицо дворника, но оно оставалось темным пятном на фоне розовато-серого неба. Очевидно, покой Мары был нарушен, а решимость со всем покончить куда-то улетучилась. Впереди были только трезвость и неприятные мысли.

В вагоне метро вокруг Мары расступались люди. Пассажиры старались не смотреть в его сторону, и он хорошо их понимал. К тому времени, как Мара доехал до своей станции, под его сиденьем образовалась приличная лужа. Всю дорогу он мог только пялиться себе под ноги. В россыпи синих и серых точек на линолеуме на дне вагона в какой-то момент ему начал мерещиться знаменитый портрет Сартра (во всяком случае, угадывались очки и трубка, косящий в сторону глаз); этот осуждающий Сартр, знающий нечто позорное о Маре, был одновременно и мурлоком из *World of Warcraft*, и — если отвести ненадолго взгляд, а потом посмотреть снова — самолетом (вид сверху), вероятно «кукурузником», проносящимся над

абстрактными серо-синими колосьями ржи. Во всем этом не было никакого смысла. Мара чувствовал, пока шел к остановке, как под пальцами внутри ботинок хлюпает грязь.

Был уже вечер, когда Мара поднялся на одиннадцатый этаж подмосковной высотки и вошел в квартиру. Здесь он почти девятнадцать лет прожил вместе с матерью, а последние полтора года — без нее. Почему-то мысли о матери настигли Мару, когда он сбросил на пол мокрую одежду.

У его матери тоже получилось не сразу. Дважды она пыталась выброситься из окна: впервые — зимой незадолго до его совершеннолетия (хотя Мара не считал себя виновным в ее болезни); тогда она не разбилась, ее спас снег под окном; а потом, уже окончательно и успешно, — прошлой весной, когда снег под окнами сошел и ничто не могло ее спасти. Она покончила с собой, не оставив записки, так что можно было только догадываться, отчего она так отчаянно желала расстаться с жизнью. Мара задавался вопросом: почему же она предпочла такой странный способ? Почему не пошла в воду, как другие, как все нормальные люди, решившие закончить, но помнящие о своей семье? Об этом Мара часто думал первое время, но ответа так и не нашел. После такого он, конечно, не мог рассчитывать на пенсионную компенсацию.

От матери Маре достались хрусталь за стеклом в стенке (как обещал в клипе Хаски), соковыжималка

и коллекция платьев, больше похожих на комплекты нижнего белья (мать работала в местном ночном клубе); ни к чему из этого Мара с тех пор не прикасался. Денег на похороны у Мары не было, так что ее похоронили по госпрограмме — на подводном кладбище. Пока ее погружали под воду, он пытался вспомнить, сколько ей было лет, но так и не вспомнил. Если бы Мара не был рассеян, он бы заметил, что с тех пор соседи перестали с ним здороваться и даже избегали выходить из квартир, пока он ждал лифт на площадке.

Нашлось бы у него больше сил (если бы его внутренние воды не текли так вяло и не были замутнены), он не остался бы жить в этом месте. Может, продал бы старую квартиру матери и снял себе комнату, как все, поближе к центру. Но Мара был слаб, и обстановка, по большому счету, была ему безразлична.

Смерть матери какое-то время преследовала его в кошмарах, а иногда находила во время бодрствования: в те дни и ночи, которые он неотлучно проводил у мольберта, и когда был измотан и напряжен работой, ему слышался шепот из соседней комнаты, запертой со дня похорон и не отпираемой даже для уборки.

Отсутствие матери не вызывало у него тоски или жалости; было нечто другое — с тех пор как Мара остался один, в нем поселилось тревожное чувство, копившееся где-то в кишках и постепенно отравлявшее его изнутри, незримо и беспощадно. Тяжелее всего, как

он уже понял, было пережить весенние месяцы — с последних чисел февраля до начала мая. Когда снег таял, барабаня по железному козырьку, а на улице шумели птицы, Мара наглухо закрывал окна и плотнее задергивал шторы. Весну, ставшую для него воплощением смерти, он уже дважды переживал взаперти. В оставшиеся девять месяцев года он все же выбирался из квартиры: чтобы посидеть на крыше многоэтажки, или навестить одного из своих приятелей-знакомых, или бестолково побродить по улицам Москвы... Раз в месяц или около того, если хватало денег, он покупал билет на электричку — всегда в терминале, потому что избегал общения с кассиршами, — и ехал куда-нибудь наугад, только чтобы ненадолго сорваться с места.

Денег, впрочем, обычно не хватало: мать после себя оставила немного, и Мара быстро всё истратил. За полтора года, прошедших с ее смерти, он сменил несколько мест работы, на которых подолгу не задерживался: месяц продержался грузчиком на складе спортивной одежды, пять недель — курьером в конторе, три месяца с перерывами — котломойщиком в столовой для поминок. Были и разовые подработки, которые Мара особенно ненавидел: он мыл стекла придирчивой заказчице с *YouDo*, на «Севастопольской» таскал коробки с кальянами на пятый этаж торгового центра, в магазинчик старого жадного араба, недоплатившего ему пару сотен...

Изредка подворачивались заказы на портретную галиматью, реже — на роспись стен. В таких случаях от него требовалось делать «красиво»: в основном вырисовывать вульгарные витиеватые узоры, цветы и птиц. И совсем редко попадались заказы интересные, за которые Мара брался с удовольствием.

Но было кое-что еще: уже около года он встречался с замужней женщиной, с которой познакомился на поминках, когда работал в столовой. Мара смутно помнил ночь их первой встречи: он сидел на железной ступеньке у служебного входа, а она пришла с гостями, весь вечер, наверно, поднимала эти стаканы с водкой за покойника и — по итогу всего выпитого — подозрительно долго ждала машину на тротуаре. По случайности уставший Мара встретил ее на том тротуаре. В необычном для него припадке участия он решился помочь и вызвал для нее такси со своего телефона. Этой женщине Мара, видимо, сразу понравился — по крайней мере, она выпросила у водителя его номер.

Так они и познакомились. Женщина эта была старше Мары, можно сказать, она была ровесницей его матери. Поначалу они встречались только по взаимному согласию, хотя Мара ни разу не был инициатором этих встреч. Она называла его странным прозвищем «мой мальчик», а себя просила звать по имени, Аней, и изредка выдавала Маре деньги. Сам он никогда ничего у Ани не просил, но и не отказывался от

подачек — принимал их просто, как когда-то брал у матери.

Как-то так Мара и жил — по большей части на хлебе «Каждый день», дешевом алкоголе и бич-лапше. А иногда его подкармливала Аня.

Этой осенью Мара нигде не работал, если не считать картин, — хотя сам он не решился бы назвать свои работы «картинами». На столе в его комнате скопилась стопка неоплаченных счетов.

Он включил свет. В коридоре, как всегда, пахло табаком и красками, как всегда, были разбросаны по углам пустые бутылки, в полумраке, как всегда, ждала его прихода запертая дверь. До чего же погано было вернуться домой.

Мара прошел в свою комнату, включил компьютер и поставил музыку — *Music of the Air* Тима Хекера. По привычке остановился у мольберта, взял кисть. Картина была недописана; он давно уже ничего не доводил до конца. Рано или поздно наступал момент, когда работа становилась ему противна.

Но сейчас, хотя ему было тошно, он все же заставил себя смотреть на холст — возможно, из-за какого-то необъяснимого желания наказать себя за сегодняшнюю слабость.

На нижней половине холста была вода, спокойные темно-зеленые волны; а верхняя половина — еще и, вероятно, уже навсегда — в карандаше: на ней проступал силуэт женщины без лица, склонившей

голову набок; на заднем плане виднелась громадина ГЭС, лишенная еще объема и похожая на голову великана, поднимающуюся из воды. В комнате было не меньше десятка подобных картин. Холсты с безликими женщинами на серых отмелях и в болотистых оврагах лежали на полу, на продавленном матрасе (кровати в квартире не было); не срезанные с подрамников работы стояли вдоль стен.

Рисовать Маре не хотелось. Он сразу понял, что сегодня опять ничего не выйдет. Голова еще кружилась после портвейна, ужасно тянуло в сон. Всего лишь очередной ранний вечер, из которого не удастся выжать ни одного мазка. На секунду ему показалось, что он забыл о чем-то важном. Мара простоял перед мольбертом, так к нему и не притронувшись, до конца песни. Когда заиграла следующая композиция, *Chimeras*, он отложил кисть и вышел в коридор.

Он прошел на кухню — по грязному скрипящему полу, мимо ванной комнаты, поглощаемой плесенью, где из-за сломанного смесителя вечно журчала вода. Все лампочки в кухне давно перегорели. Повсюду были разбросаны пустые бутылки и жестяные банки. Одну из банок Мара нечаянно задел ногой, и она с шумом откатилась куда-то в угол. Немного прибраться ему и в голову не приходило. В лунном свете, жалко сочившемся сквозь стекло, дрожала кошачья тень. Не обращая внимания на Мару, кот яростно насиловал диванную подушку.

Мара насыпал ему корма. Кот, услышав шуршание пакета, спрыгнул на пол и уткнулся в миску растрепанной мордой. Несколько мгновений Мара тупо слушал его жадное чавканье, потом на ощупь включил чайник и заварил растворимый черный кофе.

Во дворе еще было светло — вероятно, из-за полной луны. Но Мара знал, что вскоре улицу затопит чернота. Из деревянной коробки еще доносились хриплые крики подростков, игравших в футбол. Крики их были торопливыми и тревожными, и Мара подумал, что, когда дети вернутся домой, матери заругают их за опоздание, но разойтись наконец по домам им не давал страх быть осмеянными друг другом. И все же уйти им предстояло. В отличие от них, Мара мог представить конец этого развлечения: рано или поздно дети уйдут, можно сказать, их уже там нет; они окончат этот день, повзрослеют и затем состарятся. Время не имело для Мары значения: еще перед тем как сделать первый глоток, он знал, что чашка его в итоге будет пуста. Предвидя эту пустоту во всем, Мара жаждал поскорее ее достичь.

Он отпил горячего кофе. В этот момент высокий мужчина в длинном плаще и в шляпе с широкими полями рывками пересекал детскую площадку. Он неестественно переставлял ноги и был, вероятно, пьян. «Может, так маскируются осьминоги-мутанты из Москвы-реки?» — вяло подумал Мара.

Он вернулся в комнату с чашкой в руке, хотя кофе залпом выпил еще в коридоре. Ему захотелось достать из-под подушки любимый перочинный нож и вспороть все холсты. Сегодня он, вероятно, осмелился бы это сделать, если бы на столе перед компьютером не завибрировал телефон. Тогда Мара вспомнил об отправленном сообщении.

Несколько часов назад он написал этой девушке. Может, его привлекло сочетание цветов на ее фотографии? Хотя это было бы слишком просто. Скорее всего, он подумал, что нужно написать именно девушке. Так вышло — случайность. Пусть даже они были в друзьях, Мара ее не помнил. Имя знакомое, лицо на фото казалось знакомым — но никак уже не определить, откуда бы он мог ее знать. Ее профиль скрывался в конце списка друзей. У них не было общих знакомых, а история их переписки в социальной сети была чиста. Хотя бы до этого дня.

Он взял телефон со стола и открыл приложение социальной сети. Ему действительно пришло сообщение, но от одного из его немногочисленных знакомых, с кем Мара поддерживал какой-никакой виртуальный контакт. Всего лишь ничего не значащая связь, случайное переплетение сетевых нитей, приятельство для обмена картинками и ведения бессмысленных споров: об истории мира *Dark Souls* и тактиках в *Darkest Dungeon*, о выборе сцен для психоанализа в фильмах Славоя Жижека, о лирическом

герое текстов группы «Кровосток»... Это он, его едва-знакомый, так невовремя вспомнил о Маре, чтобы прислать ему давно позабытый мем (Мара и его приятель по переписке сходились на том, что дурные шутки — самые смешные).

А сообщение, отправленное той девушке? Оно было отмечено прочитанным, и ответа от нее не пришло. Значит, вот и все: никаких ненужных объяснений ждать не приходилось, и Мара вроде бы должен быть спокоен. Он спросил себя: «Разве это не к лучшему?»

Мара отложил телефон на край стола экраном вниз и подумал: «Хорошо. Это действительно к лучшему». Все это было ошибкой, которая, к счастью, обошлась без последствий. И все же Мара, *self-confessed adolescent*, избалованный и самовлюбленный, не привыкший к отказам, почувствовал себя уязвленным, даже «отвергнутым» — именно это не совсем подходящее слово зажгло у него в голове яркой неоновой вспышкой. И на этом все могло бы кончиться, не начавшись. Мара и Лиза могли бы так и остаться незнакомыми друзьями в социальной сети, как десятки и сотни тысяч других ненастоящих друзей, неясно существующих только виртуально, приговоренных навсегда быть единицами в счетчиках на страницах сплетенных профилей...

Он подвигал мышкой, чтобы разбудить потухший монитор, а потом долго и рассеянно смотрел на рабочий стол. Не хотелось даже мастурбировать. Он закурил.